

События в семье, газетные хлопоты, заговоры и перевороты не заслонили важного события в литературной жизни Довлатова. Его рассказ появился на страницах «Нью-Йоркера» — американского интеллектуального еженедельника. Написанные рядом слова «американский» и «интеллектуальный» не должны восприниматься в качестве грубой издевки. Действительно в американской жизни принято с известной долей скепсиса и насмешки относиться к интеллектуалам. С одной стороны, это влияние пуритан, считавших невозможным совместить чрезмерную ученость с образом жизни богобоязненного христианина, в поте лица добывающего пропитание и помнящего о своей греховной природе. С другой стороны, демократизм американского общества выражался не только в отрицании исторической европейской

аристократии, но и в желании поставить на место заносчивых книжников, смотрящих свысока на честных тружеников.

Тем не менее и яйцеголовые в Америке имели свои тихие заводы. К одному из таких мест и относился «Нью-Йоркер». Журнал возник в середине 1920-х — в эпоху джаза и беззаботности. Фирменная черта журнала — ирония, рецензии и эссе с интонацией разговора между своими и для своих. Традиционно большое место отводилось юмору: карикатурам и рассказам. Отношения с авторами иногда приобретали достаточно эксцентричный характер. Известен случай, когда между принятием рассказа и его появлением на страницах журнала прошли какие-то 25 лет. Появление рассказа Довлатова в «Нью-Йоркере» стало возможным благодаря прямому содействию Бродского. Он не только помог найти переводчика, но дал лестную для Довлатова рекомендацию для журнала. Энн Фридман — переводчик, начинает работу с рассказами еще летом 1979 года. Впервые Довлатов написал об этом в «Невидимой газете»:

«А я тем временем нашел себе литературного переводчика. Вернее, переводчицу. Звали ее Линн Фарбер. Родители Линн еще до войны бежали через Польшу из Шклова. Дочка родилась уже в Америке. По-русски говорила довольно хорошо, но с заметным акцентом.

Познакомил нас Иосиф Бродский. Вернее, рекомендовал ей заняться моими сочинениями. Линн позвонила, и я выслал ей тяжелую бандероль. Затем она надолго исчезла. Месяца через два позвонила снова и говорит:

— Скоро будет готов черновой вариант. Я пришлю вам копию.

— Зачем? — спрашиваю. — Я же не читаю по-английски.

— Вас не интересует перевод? Вы сможете показать его знакомым.

(Как будто мои знакомые — Хемингуэй и Фолкнер.)

— Пошлите, — говорю, — лучше в какой-нибудь журнал».

В 1990 году уже отечественный журнал «Иностранная литература» напечатал эссе Довлатова «Переводные картинки», в котором писатель рассказывает о своем опыте общения с туземными издательствами и журналами. Он, практически не изменяя,

воспроизводит процитированный выше отрывок, вернув лишь «Линн Фарбер» настоящее имя — Энн Фридман.

Само знакомство с переводчиком описывается в романтических тонах. Довлатов идет на деловое, но все же свидание, имея при себе опасную по возможным последствиям сумму — тридцать долларов. Деньги нужны для «представительских расходов». Писатель тратит их наиболее привычным образом:

«Мы шли по Сороковой улице. Я распахнул дверь полутемного бара. Приблизился к стойке:

— Джин энд тоник.

— Сколько?

— Четыре двойных?!

— Вы кого-нибудь ждете? — поинтересовался бармен.

— Да, — ответила моя новая знакомая, — скоро явится вся баскетбольная команда.

Я выпил, заказал еще.

Энн Фридман молчала. Хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Наша бы давно уже высказалась:

— Закусывай. А то совсем хорош!

Кстати, в американском баре и закусывать-то нечем.

Молчит и улыбается.

Надо ли говорить о том, что я сразу решил жениться? Забыв обо всем на свете. В том числе и о любимой жене. Что может быть естественнее и разумнее — жениться на собственной переводчице?!

На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги у меня, скажем, быстро кончаются, одиночество — никогда.

А девушка все молчала. Пока я не спросил о чем-то. Пока не сказал чего-то лишнего. Бывает, знаете ли, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь. Лишний миллиметр — и центр тяжести уже где-то позади. Еще секунда — и окунешься в пустоту. Тут важно сразу же остановиться. И я остановился. Но еще раньше прозвучало и имя — Стивен. Стивен Диксон — муж или жених. Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо и совершенно детская, почти младенческая улыбка».

То, что перед нами суровый нон-фикшен, а не романтическая розовая история, подтверждает письмо к Ефимову в марте 1980 года:

«Очаровательная Ан. Фридман повергла меня в любовь и запой. Сейчас оправился. Лена вернулась».

Можно предположить, что причина алкогольного срыва не только в сердечных переживаниях, но и связана с ожиданием грядущей публикации. Довлатов ждал ее, переживал, не скрывая радости. Из письма Виктору Некрасову от 15 марта: «Дела идут хорошо. Почти хорошо. Газета улучшается и коммерчески растет. “Нью-Йоркер” прислал аванс — 3000 (!). Хотя любая сумма после червонца мне кажется неопределенной».

«Нью-Йоркер» с рассказом «Юбилейный мальчик» выходит 9 июня 1980 года. В конце июля Довлатов знакомится с Линдой Ашер — редактором отдела прозы журнала. Она приглашает его в ресторан. Снова из «Переводных картинок»:

«Звоню Энн Фридман, спрашиваю:

— Как я должен быть одет?

Слышу:

— Ведь ты же писатель, артист. Ты можешь одеваться как угодно. А днем — тем более. Так что не обязательно являться в смокинге. Можно и в обыкновенном светлом костюме.

Неплохо, думаю. У меня и пиджака-то человеческого нет. Есть свитер, вязаный жилет и джинсовая куртка.

Звоню поэту Льву Халифу. Благо мы с ним одинаковой комплекции. Халиф мне уступает голубой пиджак, который ему дали в синагоге. И галстук цвета вянущей настурции».

Несмотря на роскошный наряд и еще более сомнительный английский язык Довлатова, встреча прошла удачно. Здесь следует отметить важный момент. Довлатов говорит, что его пригласили в «Алгонкуин», респектабельный ресторан на углу Сорок третьей и Шестой улицы. Таким он представлялся Довлатову:

«Я с испугом листаю меню. Читаю его, как Тору, справа налево. Шестнадцать долларов — “Потроха а-ля Канн”. Восемнадцать девяносто — “Фрикасе эскарго с шампиньонами”. Двадцать четыре пятьдесят — какое-то “Филе Россини”. “Лобстер

по-генуэзски” — цена фантастическая. Прямо так и сказано — “цена фантастическая”. Это у них юмор такой. Хватает совести шутить.

Листаю меню. Стараюсь угадать какое-нибудь технически простое блюдо. Что-нибудь туго оформленное, сухое и легко поддающееся дроблению. Вроде биточков».

Довлатову сложно выбрать блюдо в отличие от редактора. Ресторан — особое место для «Нью-Йоркера». Можно со смелостью назвать его культовым. Там традиционно собирались «золотые перья» журнала. Застолье не просто сопровождалось беседами, там рождались шутки и остроты, оставшиеся навсегда в американской культуре. Некий молодой человек пожаловался Дороти Паркер на то, что он не выносит дураков. Тут же последовал ответ: «Странно, ваша мать выносила». Или к Эдне Фербер обратился томный англичанин с замечанием: «Вы выглядите почти как мужчина». И получил: «Вы тоже». «Посиделки» в какой-то степени формализовались и получили название «Algonquin Round Table». Так что приглашение Довлатова — знак признания его своим для журнала. Наверное, хорошо, что окружение писателя не могли «прочитать» этот жест. Иначе отношения с кем-то гарантированно испортились бы раньше.

Ему дали понять, что публикация не разовая акция, редакция журнала заинтересована в продолжении сотрудничества. Осенью 1980 года «Нью-Йоркер» принял второй рассказ и заказал еще три. Окружение Довлатова восприняло успех неоднозначно. Характерна реакция Ефимова. Из февральского письма Довлатова за 1980 год:

«Отчего вы не прореагировали на сообщение о том, что меня печатает “Нью-Йоркер”? Прилагаю копию их письма. Оригинал висит на стене под стеклом. Покажите ее Карлу. Чтобы он слегка меня зауважал. Если он не захочет с нами дружить и отклонит наши предложения, строгий немецкий Бог его покарает».

Полагаю, что Довлатов прекрасно понимал, почему «дорогой Игорь» «не прореагировал». Но в тот момент все было прекрасно, чтобы портить отношения разборками. Вышедшая газета, предстоящая публикация в «Нью-Йоркере». Довлатов мог

поддразнить письмом и демонстрацией невиданного финансово-го благополучия. Из того же письма:

«Я получил 1000 долларов аванса из “Нью-Йоркера”, впервые в жизни сам купил себе одежду необычайно фраерского пошиба. Хотел даже купить перстень, но Лена пригрозила разводом».

Александр Батчан — главный по кино в «Новом американце» в середине 1990-х написал мемуарный очерк, напечатанный «Коммерсантом» в августе 1995 года: «Помню, как в начале восьмидесятых годов Довлатов попросил меня в качестве переводчика сходить с ним в журнал “Нью-Йоркер”, где ему предстоял разговор с Вероникой Генг, редактором английского перевода одного из его рассказов. Меня поразило то внимание, с которым относились к Сергею, который тогда даже не мог объясняться по-английски. После этого визита “Нью-Йоркер” начал один за другим помещать рассказы Довлатова».

Далее в тексте Батчан верно указывает на ироничность, «отстраненность от сиюминутных политических страстей», присущие прозе Довлатова, которые совпали с литературной установкой «Нью-Йоркера». Всё это правильно. Но в словах мемуариста проскальзывает и некоторое удивление. Тем, что Довлатова пригласили в редакцию, от того, как там отнеслись к нему, а самое главное — от физически осязаемого факта присутствия рассказов писателя в журнале. На замечание Батчана о слабом английском Довлатова также следует обратить внимание. К нему мы еще вернемся.

Вероятно, что разговоры Довлатова о сотрудничестве с «Нью-Йоркером» воспринимались со здоровым скепсисом, ведь не зря к нему приставили Марка «Савельича» Поповского — бороться с нездоровыми фантазиями и порывами главного редактора. Многие эмигранты, проявив похвальную дерзость, планировали покорить Голливуд, разбогатеть на торговле деревянными расписными ложками или продать ЦРУ детально проработанный план подрыва советской кожевенной промышленности. В осуществление смелых проектов никто не верил, но на всякий случай заранее завидовали. Редко случаи «воплощения» требовали серьезных аналитических усилий с целью объяснить феномен успеха. Вызывали одобрение

конспирологические теории, связанные с вынужденными сексуальными отношениями, политическим шантажом с участием КГБ, Моссадом (здесь пересекались шпионские версии с линией родственных связей), разведками стран Варшавского договора. Не сбрасывалось со счетов вынужденное горькое признание, что американцы — идиоты. Правда, в случае с Довлатовым объяснение лежало на поверхности и не требовало чрезмерных интеллектуальных усилий. Из интервью Соломона Волкова сетевому журналу «Чайка» в 2011 году:

«Обычно говорят, что в Америке “блата” нет. Но я понял, что понятие “нужное знакомство”, по-моему, равнозначное русскому “блату”, здесь прекрасно существует. Так вот, “нужные знакомства” на каждом этапе писательской карьеры Довлатову очень помогали. По внешним данным то, как развивалась американская карьера Довлатова, — это все невероятное везенье. Просто фантастическое. Не зря коллеги и бывшие друзья из Ленинграда очень ему завидовали. Бродский порекомендовал ему переводчицу, Энн Фридман. И уже Энн, переведя довлатовский рассказ, снесла его в этот самый “Нью-Йоркер”. Я думаю, что не без поддержки Бродского это произошло, потому что трудно вообразить, что Энн Фридман просто так туда “заявилась”. Скорей всего, Бродский позвонил и предупредил, она принесла переведенный рассказ — и его приняли».

Сам Довлатов прекрасно понимал механизм своего появления в «Нью-Йоркере», что не отменяло радости и даже бахвальства по поводу грядущего события. Из февральского письма к отцу:

«В мае (или летом) мой рассказ (26 страниц) будет напечатан в “Нью-Йоркере”. Это самый престижный журнал в мире. С гонорарами от полутора тысяч и выше. (Мне, я думаю, выплатят минимальный. Что тоже много.) Из русских в “Нью-Йоркере” были напечатаны только Набоков и Бродский. Ни Бунин, ни Солженицын — не печатались. Хемингуэй был напечатан через семь лет после того, как издал первую книгу. Такая публикация радикально меняет положение автора. Он как бы получает орден или звание. Короче, это большая удача. Устроил Бродский. Спасибо ему».

Искренне жаль автора «Старика и море». Семь лет унижительного топтания на редакционном пороге — немалый срок.

Проблема лишь в том, что дебютный сборник рассказов Хемингуэя вышел в 1923 году. «Фиеста», первый роман, принесший успех, — в 1926 году. Первый же номер «Нью-Йоркера» увидел свет в 1925 году. Но все равно хорошо. Перед кем же хвастаться, если не перед отцом. Даже таким, как Донат.

Пришло время поговорить о филантропизме Бродского. Безусловно, что он помог Довлатову с поиском переводчиков и налаживанием контактов с журналом. Для поэта подобная щедрость — вещь примечательная. Важна она тем, что Бродский не всегда и не всем помогал. А мог и — при случае и желании — навредить. Эмиграция в Америку — своего рода интеллектуальная интервенция. Мои слова не метафора. Сам Бродский ощущал себя завоевателем в прямом смысле слова. Еще в первые годы преподавательской карьеры в Америке он повесил на двери своего кабинета лист со словами: «Here are Russians» — «Русские дошли». Разбирая со студентами «Гамлета» и узнав, что они не знают местоположения Дании, поэт родил тяжеловесный афоризм в духе прусского генералитета: «Нация, которая не знает географии, заслуживает быть завоеванной!»

За несколько лет Бродский становится своим в элитарной интеллектуальной среде. Одно из свойств американцев — доверие к профессионалам. Если человек достиг определенного признания, он выступает в роли эксперта, мнение которого является решающим в неявной ситуации. Негласно Бродского назначили «главным по русской литературе». Одна из первых жертв его профессиональной состоятельности нам хорошо знакома. Вспомним революционный альманах «Метрополь» и одного из его организаторов — Василия Аксёнова. Выше уже упоминался «нобелевский роман» «Ожог». История, связанная с романом, интересна и поучительна. Аксёнов начинает его писать в конце шестидесятых и заканчивает в середине семидесятых. Это время можно назвать кризисным — герои Аксёнова выросли, новых он найти не сумел. Пишутся две детские приключенческие книги: «Мой дедушка — памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит». Замечу, что стучало «не что-то», а «кто-то». А именно герои Андрея Некрасова — капитан Врунгель, старший помощник Лом и матрос Фукс, требующие свободы и отказывающиеся от рабского

труда на литературных плантациях Василия Павловича. Следующий шедевр — шпионский пародийный роман «Джин Грин — неприкасаемый (Карьера агента ЦРУ №14)», написанный совместно с Овидием Горчаковым и Григорием Поженяном. В нем герои стреляют, курят сигары и со вкусом рассуждают о крепких спиртных напитках: «Идет мягко, как первый стакан старого шотландского виски. Скажем, солодового скотча “Чивас Ригал”, выдержанного в течение двенадцати лет в дубовых бочках!..»

Книги издавались, ничего особо не прибавляя к писательскому имени Аксёнова. Параллельно писался роман, который напечатать в советском издательстве было нельзя, но он преследовал иную задачу — укрепить пошатнувшуюся литературную репутацию. В советском издательстве «Ожог» появиться не мог изначально, согласно авторскому замыслу. Глубину замысла книги отражает автохарактеристика, сохранившаяся благодаря дневникам Виктора Славкина: «Вася говорил: “Начал писать роман для себя. Все там будут — стилиги, стукачи, б**ди, джазмены...”».

Но нельзя сказать, что Аксёнов писал его в стол, рассчитывая исключительно на благодарность потомков. Да, большинство неподцензурных творений в Союзе не выходили за пределы квартиры их авторов. С ними знакомили проверенных близких людей на домашних читках. Меньшая часть просачивалась в самиздат. Какая-то доля переправлялась через границу в «свободный мир». В последнем Аксёнов не нуждался, так как регулярно там бывал. С этим связана своя драматическая история, раскрывающая еще одну причину аксёновского «рывка на Запад». В 1973 году в Москве он знакомится с Ольгой Матич. Не совсем обычная встреча, если учесть, что Матич — американская гражданка русского происхождения с интересной родословной. Внучка небезызвестного Василия Витальевича Шульгина — Ольга вместе с семьей после войны переехала в США. Ее мать работала в Военном институте иностранных языков в Монтерее. Формально институт относился к министерству обороны США, но готовил кадры и для других разведывательных служб Америки. Ольга Матич занялась академической карьерой в области русской литературы. Не так давно она выпустила книгу воспоминаний «Записки русской американки. Семейные

хроники и случайные встречи», которая содержит ряд любопытных деталей. Итак, в 1973 году она приезжает в Союз. Один из дальних прицелов поездки — посещение Владимира — местожительство девяностолетнего Шульгина. Во Владимир Матич не попала, но зато познакомилась с Аксёновым. Их встречу можно в полном смысле назвать киношной:

«Мы с Аксёновым случайно познакомились в 1973 году на просмотре фильма “Белое солнце пустыни” в Ленинграде. Меня туда привел сценарист Валентин Ежов, с которым он был знаком, — находясь в Ленинграде, Аксёнов пришел на него как на культовый фильм своего поколения. (Он стал моим любимым советским фильмом той эпохи.)»

Аксёнов с гордостью представлял «лучшим людям той эпохи» свою новую знакомую:

«В Переделкине тот же Григорий Поженян, один из авторов “Джина Грина”, подавая мне бокал шампанского, уронил в него сардинку, но не смутился: видимо, ему казалось, что сардинка шампанскому не помеха, — правда, он был навеселе».

Не факт, конечно, что Поженян заметил сардинку в бокале. Другие знаковые люди того времени подошли к общению с «белоэмигранткой» осознанно и концептуально:

«В ресторане ЦДЛ Андрей Вознесенский первым делом спросил меня, курю ли я “травку” — эдакий нарочитый жест в сторону западного шестидесятничества; ему, наверное, хотелось выпендриться (это слово я впервые услышала именно тогда), продемонстрировать свою “хипповость”. Вернувшись за свой столик, он продолжил легко узнаваемую “жестикуюляцию”: прислал мне розу в бокале шампанского — “блоковскую”. Так началось наше знакомство, но дружбы не состоялось: мне он, в общем, не очень нравился».

Матич нравился Аксёнов. Как сказал один из персонажей Довлатова, «их связывали сложные непростые отношения». Перед отлетом Матич в Америку Аксёнов подарил ей серебряный рубль с изображением Николая II и сказал: «В следующий раз — в Иерусалиме». Милейший жест, хотя и невероятно эклектичный.

Встреча состоялась, увы, не в Иерусалиме, но тоже в неплохом месте. Матич проявила настоящую американскую напористость:

«В 1975 году я уговорила профессора Дина Ворта, заведовавшего кафедрой славистики в UCLA, пригласить Аксёнова, и после долгих мытарств в Союзе писателей ему удалось получить разрешение на выезд».

Употребление слова «мытарство» говорит о том, что для Матич русский язык так до конца и не стал своим. В Америке Аксёнову понравилось. Два месяца не прошли напрасно. Например, он сфотографировался за рулем «порше» завкафедрой Ворта. Писательское сознание работало в правильном направлении, прокладывая маршрут: ведь можно не только сидеть за рулем, но и ехать. А если ехать за рулем собственного «порше»? Прощаясь с Матич в аэропорту, Аксёнов решил не изобретать велосипеда и повторил один раз сработавший прием: «В следующий раз — в Москве».

Аксёнов может вывезти «нобелевский роман» самостоятельно. Но в этом нет того, что в будущем должно превратиться в легенду. Поэтому в ход идут наработки из «Джина Грина». Снова воспоминания Ольги Матич:

«В 1975 году Аксёнов послал мне рукопись “Ожога” австрийской дипломатической почтой; у нас был пароль для передачи рукописи издателю. Он, что неудивительно, был игровой и взялся из американской популярной культуры: сигналом к публикации служило знаменитое прозвище Франка Синатры “Ol' Blue Eyes”».

Показательны действия Аксёнова. Он не отдает «Ожог» в какой-нибудь солидный эмигрантский журнал, а рассылает по ведущим американским издательствам. Вопрос: для чего он это делал? Вряд ли он хотел услышать совет по поводу композиции, ритмической структуры текста. Аксёнов хотел напечатать роман в престижном западном издательстве. На английском языке. Часто бывая на Западе, он прекрасно понимал и представлял судьбу советского писателя, сбросившего оковы тоталитаризма. Два-три интервью в хороших газетах. Годовой курс русской литературы по приглашению в скромном университете. И всё. Аксёнов видел, как тот же Гладилин, забыв о былой славе, в качестве репортера «Свободы», бегая с магнитофоном наперевес, превратился в рядового бойца идеологической войны. Публикация в хорошем месте — условие вхождения в приличное общество. Там где Апдайк,

Беллоу, Мейлер. Ниже опускаться нельзя. Разослав «Ожог», Аксёнов ждал благоприятного ответа. Или даже ответов. Из нескольких издательств. Говоря языком героя его нобелевского романа: «Знаешь заранее, что никакой х**ни не произойдет, что все будет развиваться, как положено, что прогрессивные идеи восторжествоуют в трудной борьбе».

Так как роман не совсем о «Gulage», издательство обращается за консультацией. Имя консультанта мы знаем. Интрига раскрывается в письме Аксёнова Бродскому от 29 ноября 1977 года. Романист находится на Корсике. Символическое место, если вспомнить судьбу одного из его уроженцев. Начало письма несколько расслабленное:

«Дорогой Иосиф! Будучи на острове, прочел твои стихи об острове и, естественно, вспомнил тебя. У меня сейчас протекает не вполне обычное путешествие, но, конечно же, не об этом, Джо, я собираюсь тебе писать. Собственно говоря, не очень-то и хотелось писать, я все рассчитывал где-нибудь с тобой пересечься, в Западном ли Берлине, в Париже ли, так как разные друзья говорили, что ты где-то поблизости, но вот не удаётся, и адрес твой мне неведом, и так как близко уже возвращение на родину социализма, а на островах, как ты знаешь, особенно не<...> делать, как только лишь качать права с бумагой, то оставляю тебе письмо в пространстве свободного мира».

Писать не очень хотелось? Это вряд ли:

«Без дальнейших прелюдий, хотел бы тебе сказать, что довольно странные получаются дела. До меня и в Москве, и здесь доходят твои пренебрежительные оценки моих писаний. То отшвыривание подаренной книжки, то какое-то маловразумительное, но враждебное бормотание по поводу профферовских публикаций. Ты бы все-таки, Ося, был бы поаккуратнее в своих мегаломанических капризах. Настоящий гордый мегаломан, тому примеров передо мной много, достаточно сдержан и даже великодушен к товарищам. Может быть, ты все же не настоящий? Может быть, тебе стоит подумать о себе и с этой точки зрения? Может быть, тебе стоит подумать иногда и о своих товарищах по литературе, бывших или настоящих, это уж на твое усмотрение».

Тон и стилистика письма меняются, неожиданно возникает чувство, что читаешь маляву, составленную по всем правилам авторитетной филологии. После ритуального пожелания не хвора́ть следует претензия по поводу наезда на правильных пацанов, в роли которых Евтушенко и Вознесенский:

«Народ говорит, что ты стал влиятельной фигурой в американском литературном мире. Дай Бог тебе всяких благ, но и с влиянием-то надо поэту обращаться, на мой взгляд, по-человечески. Между тем твою статью о Белле в бабском журнале я читал не без легкого отвращения. Зачем так уж обнаженно сводить старые счеты с Евтухом и Андрюшкой».

Понятно, что заступничество за «Евтуха» и «Андрюшку» — традиционная фигура речи, повод прицепиться с целью показать, что адресат серьезно попутал берега. Затем объясняется, что автор в законе, за ним сила, а вот Бродский обслуживает чужие интересы:

«Потом дошло до меня, что ты и к героине-то своей заметки относишься пренебрежительно, а хвалил ее (все это передается вроде бы с твоих собственных слов) только лишь потому, что этого хотел щедрый заказчик. Думаю, не стоит объяснять, что я на твои “влияния” просто положил и никогда не стал бы тебе писать, ища благоволения. И совсем не потому, что ты “подрываете мне коммерцию”, я начинаю здесь речь о твоей оценке».

Ну и, наконец, следует подробный разбор главной предъявы, ради чего и составлялся текст:

«В сентябре в Москве Нэнси Мейзелас сказала мне, что ты читаешь для Farrar Straus&Giroux. До этого я уже знал, что какой-то м< — >, переводчик Войновича, завернул книгу в Random House. В ноябре в Западном Берлине я встретился с Эмкой Коржавиным, и он мне рассказал, что хер этот, то ли Лурье, то ли Лоренс — не запомнил, — так зачитался настоящей диссидентской прозой, что и одолеть “Ожога” не сумел, а попросил Эмкину дочку прочесть и рассказать ему, “чем там кончилось”. И наконец, там же в Берлине, я говорил по телефону с Карлом и он передал мне твои слова: «“Ожог” — это полное говно». Я сначала было и не совсем поверил (хотя учитывая выше сказанное и не совсем не поверил) — ну, мало ли что, не понравилось Иосифу, не согласен,

ущемлен “греком из петербургской Иудеи”, раздражен, взбешен, разочарован, наконец, но — “полное говно” — такое совершенное литературоведение! В скором времени, однако, пришло письмо от адвоката, в котором он мягко сообщил, что Нэнси полагает “Ожог” слабее других моих вещей. Тогда я понял, что это ты, Джо, сделал свой job».

Тонкая игра словами уступает место знакомой интонации. Легко прочитывается угроза, Василию Павловичу есть к кому обратиться за поддержкой:

«Прежде всего: в России эту книгу читали около 50 так или иначе близких мне людей. Будем считать, что они не глупее тебя. Почему бы нам считать их глупее тебя, меня или какого-нибудь задроченного Random House».

Тут, конечно, вопрос: зачем было отдавать роман в позорный Random House? В конце письма следует угроза, что общество может и раскороновать нарушителя правил:

«Так как ты еще не написал и половины “Ожога”, и так как я старше тебя на восемь лет, беру на себя смелость дать тебе совет. Сейчас в мире идет очень серьезная борьба за корону русской прозы. Я в ней не участвую. Смеюсь со стороны. Люблю всех хороших, всегда их хвалю, аплодирую. Корона русской поэзии, по утверждению представителя двора в Москве М. Козакова, давно уже на достойнейшей голове. Сиди в ней спокойно, не шевелись, не будь смешным или сбрось ее на < — >».

Ну и стилистически выдержанный финал: «Бог тебя храни, Ося! Обнимаю».

В итоге американские издательства отказываются от «Ожога». Друзья Аксёнова, которым он рассказал о коварстве «дорогого Иосифа», были возмущены. Кое-кто из них даже составил по этому поводу разговор с поэтом. Ольга Матич вспоминает о своем разговоре с Бродским, в достаточно странной для того обстановке:

«При встрече в Сан-Диего, где мы с ним праздновали его день рождения, я ему выразила свое возмущение: “Ведь вы были друзьями и знали о трудностях у Аксёнова с КГБ, возникших именно в связи с романом; когда он находился в UCLA, вы сами стремились с ним встретиться”. Кажется, я также предположила, что Вася наверняка рассказывал ему об “Ожоге” во время

их путешествия. Иосиф стал защищаться, сказал, что роман плохой, на что я ответила: “Можно было отказаться писать отзыв”. Он: “В Союзе я его уважал как писателя, он был для меня старшим приятелем”. И в конце концов: “Что вы хотите от местечкового еврея”. Эту фразу можно объяснить желанием кончить разговор, но меня она изумила».

Ясно, что Бродский глумится над защитницей Аксёнова. Для коренного ленинградца ссылка на свою «местечковость» носит игровой характер. Какими бы личными мотивами ни объяснялась противоожоговая терапия Бродского, в конечном литературном счете он оказался правым. Да, его рекомендации и помощь субъективны и вызывают некоторые вопросы. Та же Матич с удовольствием пишет об очередном фаворите поэта, упоминая вскользь и Довлатова:

«Довлатову он помог напечататься в престижном журнале “Нью-Йоркер”, Юзу Алешковскому — получить премию Гугенхайма и т. д. Об Алешковском он писал так: “Этот человек, слышащий русский язык, как Моцарт, думается, первым — и с радостью — признает первенство материала, с голоса которого он работает вот уже три с лишним десятилетия. Он пишет не “о” и не “про”, ибо он пишет музыку языка, содержащую в себе все существующие “о”, “про”, “за”, “против” и “во имя”; сказать точнее — русский язык записывает себя рукою Алешковского, направляющей безграничную энергию языка в русло внятного для читателя содержания!” В разговорах Бродский называл Алешковского “Моцартом русской прозы”, над чем многие потешались».

Интересно, что спустя тридцать лет в последней своей книге «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках» Аксёнов также поминает Бродского в связи с комплиментами в адрес Алешковского:

«Прошло не более двух лет, и Яша Процкий стал на Манхэттене непререкаемым экспертом по русской литературе. Временами он объявлял творца номер два, но не по стихам, а вообще, по прозе. Вот, например, прибыл в Новый Йорк забубенный Фьюз Алехин. Он был на родине известен как автор лагерных баллад, но по этому жанру в Нью он не проходил. Была также у него повестуха о торговле спермой в столице мира и социализма, и вот

по этому жанру на суаре у Татьяны Яковлевой-Розенталь доктор Процкий объявил его “Доницетти русской прозы”. До Моцарта все же не дотянул, поскольку место было уже занято».

Реальные лица в романе функционируют под прозрачными псевдонимами. Конечно, есть вопросы по поводу музыкальности «Николая Николаевича». Но когда Высоцкий превращается во Влада Вертикалова, а себя автор переименовывает в Василия Ваксона... Но Больше других повезло Окуджаве. Он теперь — Кукуш Октава. Да и по поводу спермы Василий Палыч скромничает. Об его вкладе в эротическое раскрепощение отечественной словесности я еще скажу.

Но при всех упреках в адрес «Процкого» «Ожог» — факт личной писательской биографии Аксёнова, но не явление в русской литературе. Судьба его романа еще всплывет в нашем повествовании. А пока что прозаик возвращается в Союз. Теперь сравним две даты 29 ноября 1977 года и декабрь 1977 года. Близко? Весьма. Из мемуара Виктора Ерофеева:

«В декабре 1977 года, когда я снимал квартиру напротив Ваганьковского кладбища и каждый день в мои окна нестройно текла похоронная музыка, мне пришла в голову веселая мысль устроить, по примеру московских художников, отвоевавших себе к тому времени хотя бы тень независимости, “бульдозерную” выставку литературы, объединив вокруг самодельного альманаха и признанных, и молодых порядочных литераторов. Бомба заключалась именно в смеси диссидентов и недиссидентов, Высоцкого и Вознесенского. Я без труда заразил идеей своего старшего прославленного друга Василия Аксёнова (без которого ничего бы не вышло)».

Вопрос об инфицировании снимается уточнением в скобках. Именно Аксёнову «Метрополь» был нужнее всех. И по сравнению с Высоцким, и с Вознесенским, и с самим формальным автором «весёлой мысли» — Ерофеевым. Если не получается въехать в свободный мир автором «нобелевского романа», то следует появиться в качестве вождя свободных писателей, бросивших вызов. Их же, в свою очередь, можно будет также бросить. Игра не слишком сложная, понятная, но проблема в том, что сказав это вслух, можно было угодить в разряд «трубадууров режима».

Поэтому говорилось между своими, нехотя. Из воспоминаний Станислава Рассадина:

«Аксёнов, один из инициаторов “Метрополя”, в данном случае не в счет: как помним, позже он сам расскажет, как планировал свою эмиграцию — в отличие от Лиснянской и Липкина, “домашних гусей”. И хотя то, как была воспринята его роль во всем этом, скажем, непримиримым Виктором Конечким (“Передай Ваське, — говорит он в Париже Анатолию Гладилину, — чтобы он не встретил мне где-нибудь на международном перекрестке: расквашу хлебало вдребезги...” — “За что ты на него так?” — “За то, что по его вине на шесть-семь лет из литературы вылетели Фазиль Искандер и Андрей Битов”. — “Ты имеешь в виду «Метрополь»?” — “Да”), хотя, говорю, восприятие это действительно слишком непримиримо, что скрывать, в более мягко-укоризненной форме подобное высказывали тогда многие».

С другой стороны, можно продлить линию причинно-следственных связей и назвать Иосифа Бродского подлинным создателем, вдохновителем «Метрополя». В любом случае он обладал реальными возможностями и был той силой, которая могла их употребить как во зло, так и во благо. Почему Бродский помог Довлатову? На мой взгляд, есть две причины тому. Во-первых, ему действительно понравились его рассказы. Во-вторых, помощь ничем не угрожала самому Бродскому. Он помогал, рекомендовал того, кто находился заведомо в конце списка. И как бы Довлатов ни вырос, расстояние до Бродского оставалось непреодолимым. Помочь Аксёнову — поднять «друга Васю» до собственного уровня с неизвестными для Бродского последствиями. Естественно, в случае с Довлатовым благодетель не мог предположить, что журнал всерьез заинтересуется его протее. Да и при таком раскладе ситуацию можно назвать профитной. Бродский открыл для серьезного журнала перспективного автора. Довлатов прекрасно понимал расклады. Из письма Ефимову от 1 августа 1983 года: «Механизм симпатий Бродского примерно ясен (приподнять Лимонова, опустить Аксёнова)».

Мне кажется, что 1980-й — год, когда Довлатов был по-настоящему счастливым. Один из неожиданных довлатовских парадоксов. Многие семьи не перенесли переезда в другой мир

и распались. Эмиграция же Довлатова привела к воссоединению семьи. Писатель говорил об этом вскользь, желая снизить пафосность момента. Из письма Ефимову от 4 мая 1979 года:

«С Леной помирился. Поздно уже разводиться. Все же она лучше других. Здешние барышни такие практичные. Тип беспризорного гения не в почете».

Довлатову не пришлось осваивать профессии лифтера, таксиста, грузчика, ставшие привычными для русских эмигрантов. Он работал по профессии. Нужно учесть, что безработных журналистов в той волне эмигрантов было предостаточно. Еще один важный момент — Довлатов работал на себя. Из соучредителя с сомнительными правами за несколько месяцев он превратился в главного редактора.